

УДК 82.09+130.2+171
DOI: 10.17223/19986645/74/15

Е.Б. Крюкова, О.А. Коваль

МЕЖДУ ПОЭЗИЕЙ И ПРАВДОЙ: ИНГЕБОРГ БАХМАН И ЖАН АМЕРИ О СМЫСЛЕ РОДИНЫ, ЯЗЫКА И МОРАЛИ¹

Реконструируется история взаимоотношений двух австрийских интеллектуалов: поэтессы и писательницы Ингеборг Бахман и публициста Жана Амери, яркого представителя литературы Холокоста. С привлечением биографического материала удастся воссоздать событийную канву этой истории, а сопоставление творческого наследия позволяет сделать вывод о близости их позиций в вопросах вины, памяти, моральной ответственности, понимания родины и роли языка.

Ключевые слова: язык, этика, ресентимент, философия и литература, Бахман, Амери

От этих зданий
ничего не осталось
кроме стен
лежащих в руинах

От тех многих
что были со мной
даже и этих
руин не осталось

Но в моем сердце
крест за крестом

Мое сердце
это страна в руинах
Джузеппе Унгаретти

Пересечение судеб и творческих путей Ингеборг Бахман и Жана Амери хотя и ограничивается фактологически всего несколькими эпизодами, отличается особой интенсивностью, как правило, не свойственной заочным отношениям. Близость, установившаяся между ними, возникает не из-за схожести пережитого, а из-за подобия продуманного, тех траекторий мысли, которые они интуитивно прокладывали в темноте собственного одиночества. Осознавая невозможность разделить это состояние с другим, оба не предпринимали попыток нарушить существующую между ними дистан-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 19-311-60010 «Этическое измерение языка: современная литература как способ подступить к границам высказываемого».

цию. Однако когда Амери совершает самоубийство в пятую годовщину смерти Ингеборг Бахман, он тем самым – словно бы в опровержение известной аксиомы «Каждый умирает в одиночку» – решается на небывалый экзистенциальный эксперимент. Чуждость любому сообществу, характерная для узника концлагеря, преодолевается в этом акте солидарности *post scriptum* и *post mortem*. Трагический финал, не менее символический и в случае Бахман, побуждает к тому, чтобы с самого начала проследить перипетии этой истории и представить их как важные вехи моральных исканий послевоенного времени.

Расплывчатость, неуловимость взаимоотношений Ингеборг Бахман и Жана Амери, никогда не встречавшихся друг с другом и даже не обменивавшихся письмами, придает их связи оттенок иллюзорности. Во многом это объясняется тем, что диалог двух интеллектуалов разворачивается на некой незримой границе – жизни и смерти, вымысла и реальности, не исключая и перекрестной перспективы – вымысла жизни и реальности смерти. Ведется он преимущественно на территории литературы, поскольку ее имажинальное пространство, интегрируя в себя произошедшее в действительности, легко сплетает в единый нарратив что было и чего не было. Так, первым движением в направлении далекого собеседника стало упоминание эссе Амери в повести Бахман «Три дороги к озеру». Этот художественный текст, увидевший свет в 1972 г., оказался не только последней прижизненной публикацией писательницы, но и, с учетом автобиографических мотивов, которые легли в основу его сюжета, своеобразным подведением итогов¹.

В образе главной героини Элизабет Матрай без труда угадываются черты, привязанности и убеждения самой Бахман. Действие повести ограничивается всего несколькими днями, которые Элизабет – давно покинувшая провинциальный австрийский городок, где она выросла, и сделавшая блистательную карьеру фоторепортера – проводит в родительском доме с престарелым отцом. Это время, своим замедленным темпом резко контрастирующее с ее парижской повседневностью, невольно заполняется воспоминаниями – о детстве, юности, любовных переживаниях, профессиональных устремлениях, личных потерях. Они складываются в особую карту конкретной человеческой судьбы с ее взлетами и падениями, аллегорическим выражением которой выступает топография родных мест. Собственно, три дороги – это скорее психологические маршруты, следуя которыми героиня не столько стремится достичь озера своего детства, сколько разобраться в себе самой.

Журналистская работа, в которой Элизабет некогда видела свое призвание, нередко забрасывала ее в зоны военных действий. Движимая антимилитаристским пафосом, она хотела показать миру страдания других людей, запечатлев их на фото пленке, и расценивала подобную деятельность исключительно в категориях морального долга. Сейчас же она с горьким

¹ Подробный анализ повести, в котором проводятся параллели между ее содержанием и событиями личной жизни Бахман, см.: [1].

скепсисом констатирует, что обманывалась на свой счет и что боль человека несоразмерна поверхности глянцевого снимка¹. Осознать это Элизабет помогла небольшая статья Жана Амери. Хотя писательница выводит его в размышлениях своей героини, не указывая имени, установить авторство не составляет труда: «...она случайно наткнулась на эссе под названием “О пытках”, его написал человек с французской фамилией, живший в Австрии, а потом переселившийся в Бельгию. ...В эссе было сказано то, чего не сумели выразить ни она, ни все другие журналисты; даже в высказываниях жертв, которым удалось выжить – их печатали в наспах составленных документальных сборниках, – это не было выражено. Она решила написать автору, но не знала, что ему сказать, не знала, что толкает ее на этот разговор. Наверное, ему понадобилось много лет, чтобы проникнуть в суть явлений, извлечь выводы из ужасающих фактов. Понять эти страницы, предназначенные для немногих, можно было, лишь отвлекшись от “охов” и “ахов”. Автор пытался объяснить, что самое ужасное (он сам испытал ужасы пыток) – в разрушении духовности, и прослеживал изменения в психике человека, который продолжал жить, морально погибнув» [3. С. 277]. Героиня повести так и не написала бывшему заключенному нацистского концлагеря, чей текст вызвал в ней столь сильный душевный отклик. Не осмелилась написать Жану Амери и Ингеборг Бахман. Однако ее послание, отправленное «бутылочной почтой» литературы, довольно скоро достигло своего адресата.

На тот момент ему было 60 лет, большую часть из которых он провел за пределами Австрии. Эмиграция Амери поначалу носила вынужденный характер: после аншлюса он не мог больше – в силу политических убеждений и еврейского происхождения – оставаться на родине и бежал в Бельгию; за участие в Сопротивлении в июле 1943 г. попал в руки гестапо; год провел в Освенциме². А освободившись из лагеря в конце войны, Амери уже сам не захотел вернуться в Австрию, где все ему напоминало о фашистском режиме: и люди, еще недавно приветствовавшие Гитлера, а теперь выдававшие себя за жертв насильственной оккупации, и затаившийся, но не исчезнувший антисемитизм, и повсеместно звучащая немецкая речь, одновременно родная и совсем чужая. Амери поселился в Брюсселе и взял себе новое имя³, которым подписывал свои сочинения. Много лет он, занимаясь главным образом журналистской деятельностью, ни словом не

¹ Аналогичную позицию отстаивает Сьюзен Сонтаг в своей книге «Смотрим на чужие страдания» (2003), разоблачая военную фотожурналистику как «шоковую терапию» и предупреждая об опасности эстетизации чинимых зверств, см.: [2].

² Полная биография Амери, единственная на сегодня, появилась лишь в XXI в. Она вышла из-под пера издательницы его собрания сочинений Ирэн Хайдельбергер-Леонард, см.: [4].

³ Его настоящее имя – Hans Mayer. Псевдонимом «Jean Améru», который представляет собой анаграмму фамилии Майер и французский аналог имени Ханс, мыслитель пользовался с 1955 г., а в 1966 г. даже внес соответствующие изменения в официальные документы.

обмолвился о собственном трагическом прошлом, и лишь открытый освенцимский процесс над нацистскими преступниками, начавшийся во Франкфурте-на-Майне в 1964 г., побудил Амери нарушить молчание. Эссе «Пытка», которое читает героиня повести Бахман, – второй его текст на тему Холокоста, который позднее войдет в книгу «По ту сторону преступления и наказания» (1966), принесшую мыслителю мировую известность.

Предельная откровенность, с которой Амери изображает личный травматический опыт, делает повествование о пытках документом невероятной мощи. Он свидетельствует о силе человеческого духа – вопреки сознательному намерению автора показать его слабость, уязвимость и ненадежность в чудовищных условиях концентрационного лагеря, его полную подчиненность плоти. Перефразируя Витгенштейна, Амери формулирует афоризм иного порядка: «Границы моего тела суть границы моего я» [5. С. 59]. Ничего не остается от личности, когда другой покушается на твоё тело. Доверие к миру, согласно Амери, зиждется на безопасности физического существования, возможности защитить себя или позвать на помощь, чего лишен человек в пыточной камере. Однажды утраченное, это доверие оказывается не восстановимо, и тот, кто претерпел насилие со стороны другого, более не способен вести полноценную жизнь. «Первый удар доводит до сознания арестованного, что он беспомощен, – и тем самым он в зачатке уже получает все дальнейшее» [5. С. 59]¹. Отсюда убежденность Амери в том, что пытка – не случайный атрибут нацизма, а его сущность, что фашистская политика была с самого начала нацелена на уничтожение человека.

Воспроизводя события двадцатилетней давности с такой скрупулезностью, как будто они произошли вчера, Амери демонстрирует незавершенность прошлого, его насильственное вторжение в настоящее. Казалось бы, предельно интимный опыт боли, которым нельзя ни с кем поделиться, по определению не может быть коллективным. Однако Амери настаивает, что «страшное не претендует на уникальность» [5. С. 51]. Оно не только возвращается к своей жертве с регулярностью навязчивого кошмара, но и постоянно повторяется, в том числе и сегодня – в иных обстоятельствах, с

¹ Идея «первого удара», после которого мир дает трещину и уже никогда не обретает прежней целостности, появляется – словно отголосок размышлений Амери – и в романе Ингеборг Бахман «Малина» (1972). Случай из детства, который вспоминает героиня, хотя и не сопоставим по масштабу с испытаниями Амери, воспроизводит ту же последовательность переживаний, когда физическая агрессия со стороны другого оборачивается крушением собственного Я: «...два мальчугана... с ранцами на спине, старший из них... крикнул: “Эй ты, поди-ка сюда, я тебе кое-что дам!” Эти слова не забылись, как и мальчишеское лицо, такой важный первый зов, моя первая бурная радость, я останавливаюсь, медленно, делаю на этом мосту первый шаг к другому, и сразу же – хлоп! Жесткая ладонь бьет меня по лицу, на тебе, вот ты и получила! То был первый удар, нанесенный мне по лицу, и первое осознание того, сколь глубокое удовлетворение получает другой, когда бьет. Первое познание боли. Держась обеими руками за ремни ранца, не плача, ровным шагом, некто, бывший прежде мною, затрусил по привычной дороге домой... в первый раз попав в руки к людям, – так что иногда все же знаешь, когда это началось, как и где и какими слезами надо было плакать» [6. С. 29].

иными людьми, в разных частях земного шара. Ощущая необходимость найти для этого какой-то способ выражения, Амери констатирует бессилие и неадекватность исповедального, документального, научного дискурсов. С той же моральной дилеммой сталкивается и героиня Бахман, когда переосмысливает свою профессиональную миссию фоторепортера, фиксирующего ужасы войны. Как ни странно, текст Амери оказывается для нее – в противовес визуальной достоверности современных медиа – наиболее аутентичной формой передачи творимых злодеяний. Тот факт, что Бахман интегрирует эссе о пытках в художественную ткань своей повести, может расцениваться в двух отношениях. Автобиографический экскурс Амери, стирающий границу между прошлым и настоящим, личным и публичным, первых, дает ей право говорить от собственного имени о страшном опыте другого¹, а во-вторых, позволяет в ответ предложить пространство литературы как альтернативный модус свидетельства.

Амери расслышал обращенные к нему слова Бахман, уловив и доверительную – несмотря на широту вещания – интонацию, которая их отличала. Ко времени, когда в его руки попал том рассказов «Синхронно» (1972), который венчала повесть об Элизабет Матрай, Амери уже был знаком с творчеством Бахман. Он высоко ценил ее как поэта, но в отличие от многих отнесся с пониманием, когда она, выпустив два дебютных сборника прославившей ее лирики, неожиданно приняла решение больше не писать стихов². Сильное впечатление на него произвела и «необычайно толковая философская статья» Бахман об их соотечественнике Людвиге Витгенштейне [9. S. 200]³. По долгу службы, в качестве книжного обозревателя, Амери ознакомился также с романом «Малина», неоднозначно встреченным критикой. Отметив неординарность этой прозы, он взял себе на заметку обязательно еще раз вернуться к книге и прочесть ее внимательнее. Но сборник «Синхронно», который Бахман сочиняла в перерывах работы над романом, захватил его с первых же страниц. По собственному признанию, он прочел его «на одном дыхании»: «...чувство общей судьбы не покидало меня, хотя она и я принадлежали к разным поколениям, и ей – по сравнению со мной – довелось вкушать хлеб чужбины не при столь драматичных обстоятельствах. Это чувство не было заблуждением: ибо вскоре я наткнулся на то место, где она говорит о “человеке с французской фамилией, жившем в Австрии, а потом переселившемся в Бельгию”, который написал что-то о пытках» [9. S. 201].

Однако далеко не все восприняли оказавшуюся последней книгу Бахман так восторженно. Ее обвиняли в сентиментальности и мелодраматиз-

¹ В этом праве ей отказывает Ирэн Хайдельбергер-Леонард, с особой настойчивостью подчеркивающая несопоставимость страданий узников концлагеря с каким бы то ни было иным видом угнетения, см., например: [7. S. 159].

² Тонкий очерк о поэтических, драматургических и прозаических опытах Бахман, освещающий литературную эволюцию писательницы, см.: [8].

³ Во время работы на радио в начале 1950-х гг. Бахман написала эссе о знаменитом философе, которое позднее переработала в сценарий радиопрограммы. Оба текста опубликованы в 4-м томе ее Собрания сочинений, см.: [10. S. 103–127, 12–23].

ме, нарциссизме и жеманстве, а возглавлял этот хор недоброжелательных голосов самый маститый литературный критик ФРГ Марсель Райх-Раницкий. Некогда с большим энтузиазмом поддерживавший юную поэтессу, он и в отзыве на ее первый сборник рассказов «Тридцатый год» (1961) высказался весьма неодобрительно о переходе Бахман к прозаическому жанру. В рецензии же на «Синхронно» он не оставляет ей как писательнице ни единого шанса, относя эту книгу к разряду «чтива для дам, что листают иллюстрированные журналы в парикмахерских или комнате ожидания у зубного врача» [11. S. 192]. С нарочитой жестокостью он объявляет Бахман «падшим лириком» [11. S. 189], и в этом хлестком выражении, подхваченном многими, проскальзывает аллюзия не только на «павшего ангела», но и на «падшую женщину»¹.

В знак солидарности с Бахман Амери публикует собственную рецензию², стремясь таким образом защитить автора от незаслуженных нападок, а кроме того, тем же окольным путем печатного слова подать знак, что ее дружеская реплика достигла его. Тему, которую поднимает Амери в своей статье, можно считать ключевой для объяснения их мгновенного взаимопонимания: это любовь-ненависть к Австрии, их общей родине, со всеми вытекающими отсюда вопросами касательно давней и недавней истории, наследуемой и опровергаемой традиции, памяти и намеренного замалчивания прошлого, двойственной роли языка в крушении и сохранении ценностных ориентиров. Примечательно, что, опровергая упрёки критиков Бахман, Амери приводит в пример имена выдающихся предшественников и задает тем самым ее творчеству соответствующий масштаб: «Сочувствие к себе? Ну да – все зависит от того, кто его испытывает и как претворяет в языке; рассказчик *Поисков утраченного времени*, позволю себе заметить, тоже не был от этого свободен. Отказ понимать мир и “общественную действительность” легко вменить в вину и Джеймсу Джойсу. Манерность – даже в рамках одного и того же поэтического дарования – можно отнести то к грандиозным достижениям, а то к бесславному провалу, вспомните только о Рильке» [14. S. 195–196].

Амери не ждал, что Бахман отреагирует на его статью. И доподлинно неизвестно, увидела ли она его слова поддержки. Но как бы то ни было, осенью 1972 г. он получил от писательницы, к тому времени уже давно обитавшей в Риме, еще одно известие. Несколько австрийских тележурналистов навестили Амери в Брюсселе, чтобы взять у него интервью. Незадолго до этого та же съемочная группа побывала у Бахман, которая воспользовалась подвернувшейся возможностью и попросила уточнить у са-

¹ Видимо, Райх-Раницкий намеренно хотел вызвать подобную ассоциацию, намекая на то, что все рассказы сборника «Синхронно» ведутся от лица женщин. Сегодня же смелый, откровенно немужской пафос поздней прозы Ингеборг Бахман дает основания причислять ее к зачинательницам феминистического типа письма, см. об этом: [12].

² По замечанию литературоведа Зигрид Вайгель, создательницы интеллектуальной биографии Бахман, текст Амери представляет собой «один из самых умных» анализов, появившихся при жизни писательницы, см.: [13. S. 331].

мого автора, выходил ли уже знакомый ей текст отдельным изданием¹. Амери с готовностью откликнулся на просьбу соотечественницы и подписал для нее экземпляр своей книги: «Ингеборг Бахман с добрыми пожеланиями. Жан Амери. Брюссель, сентябрь 72». Он сохранился в библиотеке Бахман, и в комментаторской литературе часто воспроизводится эта дарственная надпись². Но лишь сравнительно недавно было обнаружено письмо Амери, вложенное в ту книгу, – единственный случай прямого эпистолярного контакта: «Брюссель, 19 сентября 1972 г. Уважаемая госпожа Бахман, пара милых молодых людей с австрийского телевидения были у меня. Они передали мне Ваши приветы и сообщили, что Вы спрашиваете о моей статье “Пытка”. Эссе находится в книге, которую я Вам отправляю той же почтой. Надеюсь, не только эта глава, но и другие вызовут Ваш интерес. С дружественным приветом, преданный Вам Жан Амери» [15. S. 46].

Надежды Амери были оправданны: Бахман всегда стремилась как можно больше узнать об этих трагических страницах немецкой истории. Как уцелевших узников концлагеря нередко преследуют угрызения совести по отношению к тем, кто не выжил, так и у Ингеборг Бахман – еще со времен ее юности и близкого знакомства с Паулем Целаном – сложился своеобразный комплекс вины, вины человека, по воле судьбы и факту происхождения оставшегося не задетым волной массовых истреблений. В отличие от многих интеллектуалов, по разным причинам предпочитавших не оглядываться назад, Бахман изучала все доступные свидетельства и материалы, связанные с преступлениями национал-социалистов против человечности. Когда в мае 1973 г. по приглашению Варшавского института австрийской культуры она оказалась в Польше, одним из самых сильных впечатлений от этой поездки стало посещение концлагеря Аушвиц-Биркенау, расположенного в непосредственной близости от Аушвиц-Моновиц, где весь 1944 г. провел Жан Амери. В интервью польской журналистке Бахман откровенно признается, что пережила шок: «Я полагала, что я знаю все, что я все прочла, все видела – и вроде как я действительно все знала. <... > Но никакого толку в том, что ты это знаешь, ибо в то мгновение, когда ты там стоишь, все совершенно иначе. Я не могу говорить об этом, потому что... и сказать-то нечего. Раньше я могла говорить об этом, но с тех пор, как я это увидела, думаю, я больше не смогу» [16. S. 131]³.

¹ Судя по всему, Бахман читала эссе Амери в печатной версии, впервые появившейся в 1966 г. в журнале «Меркур». Однако уже в том же году в небольшом мюнхенском издательстве увидел свет сборник «По ту сторону преступления и наказания», в который помимо упомянутой работы о пытках вошли и другие размышления Амери.

² См., например: [14. S. 331; 15. S. 43].

³ Сходное ощущение недостаточности памяти и слов воспроизводит В.Г. Зебальд в романе «Аустерлиц» (2001), когда его герой попадает в крепость-музей Бриндонк, где после ареста пытали Амери: «Даже теперь, когда я силюсь вспомнить это, когда я держу перед собой ракообразную схему Бриндонка и вчитываюсь в описания... даже теперь эта тьма не рассеивается, а, наоборот, сгущается при мысли о том, как мало мы в

Спустя несколько месяцев после польского турне, 17 октября 1973 г., Ингеборг Бахман не стало. Три недели она находилась в больнице после пожара, который возник в ее римской квартире, как считается, из-за потушенной сигареты. Однако обстоятельства смерти писательницы до сих пор остаются предметом споров и кривотолков: наряду с несчастным случаем выдвигаются версии о самоубийстве и даже об убийстве¹. Предчувствие близкого конца сквозит в разных текстах Бахман (не говоря уже о самом замысле цикла «Виды смерти», призванного проиллюстрировать обреченность женщины в современном обществе). В романе «Малина» героиня, пребывая в сомнамбулическом состоянии, с трудом удерживается от того, чтобы не совершить роковой шаг и не поджечь себя. Повесть «Три дороги к озеру» обрывается в тот момент, когда Элизабет, очнувшись ото сна, понимает, что истекает кровью: «И все же она успела сказать себе: “Спокойно! Спокойно! Со мной уже ничего не может случиться. Со мной все может случиться, но не должно ничего случиться”» [3. С. 335]. И хотя эта фраза предполагает открытый финал, такая форма заклинания склоняет к мысли о трагической развязке. Похожий рефрен звучит и в строках «Песен на дорогах бегства»: «Отпусти меня! Я не могу умирать так долго. / Но у святого иные заботы: / оберегает он город и хлеб добывает. / Простыня чересчур тяжела для веревки, / но, упав, она меня не накроет. / Подыми меня. Я виновна. / Не виновна я. Подыми меня» [20. С. 56].

Узнав о смерти Ингеборг Бахман, Амери сочинил некролог с красноречивым названием «На могилу неизвестной подруги». Будучи словами прощания с большим литературным талантом, речь Амери – вопреки несостоявшемуся личному знакомству – выдает его глубокую скорбь не столько по безвременному уходу поэта, сколько по утрате близкого. Он сетует об упущенной возможности и сожалеет, что так и не реализовал свое намерение поехать в Рим или хотя бы позвонить. «Кто не окончательно глух и слеп, тот должен был увидеть за “текстом” человека, от которого в конечном счете зависит все. У меня по-прежнему стоит перед глазами духовный образ этой женщины, которая больше, чем просто “текст”, и нечто иное, чем он» [9. S. 202]. Это может показаться случайностью, но и у Бахман однажды имя Амери всплывает как символ «избирательного сродства». В романе «Малина» есть эпизод, где героиня пишет письмо непри-

состоянии удержать в нашей памяти, как много всего постоянно предается забвению, с каждой угасшей жизнью, как мир самоопустошается оттого, что бесчисленное множество историй, связанных с разными местами и предметами, никогда никем не будут услышаны, записаны, рассказаны...» [17. С. 30–31].

¹ Иницированное другом Бахман, композитором Ханцом Вернером Хенце уголовное дело об убийстве было закрыто итальянской полицией в 1974 г. за отсутствием доказательств, см.: [18. S. 152]. Полученные Бахман ожоги не были смертельными, и, скорее всего, к летальному исходу привел неверно выбранный курс лечения, не учитывавший ее многолетнюю зависимость от сильнодействующих успокоительных средств. Факты и мифы, сложившиеся вокруг смерти Бахман, разбирает в своей статье Е. Евграшкина [19].

ятному ей корреспонденту – знакомому литературному критику Ганцу (в русском переводе – господину Целому). Ее отвращение распространяется на саму его фамилию, и она начинает фантазировать: «Даже если бы Вы прозывались Мейер, Майер, Майр или Шмидт, Шмид, Шмитт, у меня была бы возможность думать не о вас, когда произносятся эти фамилии, а вспоминать кого-то из моих друзей, кого тоже зовут Мейер, или некоторых людей с фамилией Шмидт, сколь бы различно она ни писалась» [6. С. 115]¹. Принимая во внимание, что Бахман придавала исключительное значение именам собственным при создании литературных произведений², выдвигаемая гипотеза выглядит вполне оправданной.

В эссе «Сколько родины нужно человеку?» Амери вспоминает, что до своего бегства в Бельгию простое немецкое имя Ханс Майер, полученное им при рождении, и австрийский диалект составляли основу его идентичности. Но неожиданно оказавшись в чужой стране непрощенным гостем, он ощутил полное отсутствие элементарных экзистенциальных и социальных ориентиров: «Я перестал быть я и не принадлежал более к сообществу *мы*. У меня не было ни паспорта, ни прошлого, ни денег, ни истории. Был только ряд предков, состоявший из печальных, безродных, преданных анафеме рыцарей. Задним числом у них отняли еще и право на родину, и мне пришлось взять с собой в изгнание только тени» [5. С. 82]. Смена языка на чужбине была мерой, продиктованной необходимостью, а кроме того, немецкий ассоциировался с языком захватчиков, оккупантов, а не их жертв. Однако после освобождения из лагеря Амери сознательно берет себе другое, французское имя. Этот жест не столько вызов предавшей его родине, сколько естественный акт, потому что Ханс Майер, превратившийся сначала в «анонима», «безымянного беженца» [5. С. 85], а позже и вовсе насильно лишенный индивидуальности, которую заменил набор цифр на руке, постепенно стал призраком, «фигурой очень далекой, которой на самом деле больше не существует» [22. S. 132]. Нечто подобное переживает и герой Бахман в рассказе «Тридцатый год», когда приезжает в добровольно покинутую им в ранней юности Вену: «Он почувствовал вдруг, что его возвращение нереально по многим причинам. С таким же успехом мог бы возвратиться назад покойник. Никому не дано продолжить то, что уже оборвано» [23. С. 89].

Имя и язык, определявшие субъективность Амери, – это и базовые понятия Венского кружка, того интеллектуального движения, к которому в разные годы принадлежали как он сам, так и Бахман. Амери считал своими учителями Мориса Шлика и Рудольфа Карнапа, которых слушал в университете до войны, Бахман же в конце 40-х защитила диссертацию под руко-

¹ Хотя фамилия Майер, равно как и Шмидт, является одной из самых распространенных в немецкоязычных странах, все три варианта ее написания, которые использовала в данном фрагменте Бахман – Meier, Maier, Mayer, действительно фигурировали в качестве имени Амери в аттестационных бумагах школьных времен.

² См. об этом ее Франкфуртские лекции: [21. S. 62–78].

водством Виктора Крафта, последнего представителя прославленной плеяды логических позитивистов. Для обоих писателей философская рефлексия языка в духе Витгенштейна, выходя за рамки чисто умозрительной проблемы, постоянно оставалась живой, настоящей заботой¹. В.Г. Зебальд даже высказывает предположение, что в 30-е гг. аналитическая мысль оборачивается для австрийского изгнанника спасительным пристанищем: «Взросление Америки началось с захвата власти национал-социалистами. В той мере, в какой через границу распространяются новости о бойкотах евреев, сожжении книг, лагерях для интернированных, становится ощутимым и медленное превращение родины во вражескую страну. Амери вынужден искать себе новую родину, и таковой оказывается Венский кружок, безвоздушное пространство правильных, неопровержимых предложений. Эстетике иррационализма он противопоставляет отныне эстетику логики, как если бы таким образом он мог обороняться против нарастающего вокруг порядка несправедливости» [22. S. 136].

Витгенштейновская идея об онтологической первичности языка находит в судьбе Америки свое буквальное подтверждение. Разве что опыт, который провоцирует его на такое философствование, является сугубо негативным и связан с ощущением потери – потери мира, превращающей язык в перечень пустых констатаций, и потери языка, делающей мир необитаемым местом. Согласно Амери никто не в силах обрести новую отчизну взамен отобранной родины детства и раствориться в чужом языке без остатка: «...как учишься родной речи, не зная грамматики, так познаешь и родной окружающий мир. Родная речь и мир родины растут вместе с нами, вырастают в нас и становятся интимным знанием, гарантирующим нам уверенность» [5. С. 88–89]. Чувство уверенности выступает для Америки смысловым наполнением понятия родины – «если родины нет, впадаешь в хаос, растерянность, протрацию» [5. С. 88]. Знакомое каждому эмигранту состояние беспомощности, «речевой неполноценности» [5. С. 94] отзывается в Амери особенно остро еще и потому, что – в отличие от многих своих соотечественников – он не сам выбрал себе роль изгнанника, а его страна выбрала ее за него.

Румынский философ Эмиль Чоран, которого роднит с Америкой не только эмигрантский удел, но и дух категорического отрицания, изобрел афоризм: «Человек живет не в стране, он живет внутри языка. Родина – это язык и ничего больше» [25. С. 27]. Но если Чоран решается на мучительный переход во французскую речь, в которой надеется обрести новый дом, то Америка остается болезненно верен своей родине – даже в модусе ее отсутствия. Уже в первые годы жизни в Бельгии он наблюдает за теми процессами языкового отмирания, которые происходят непосредственно в нем самом. Узкий круг тем для обсуждения и ограниченное число собеседников невольно обедняют родную речь, сводя ее к набору готовых формул или коверкая вкраплениями чужого диалекта. В такой ситуации чувствовать себя

¹ О влиянии Витгенштейна на Бахман и ее критической рецепции его теорий см.: [24].

«хранителем» великого немецкого языка представляется затруднительным. Как ни прискорбно, но его хранители и продолжатели находятся по другую сторону, в нацистской Германии, и сколь бы сомнительным ни казалось обогащение лексикона за счет идеологической риторики, именно там немецкое слово напрямую соотносится с действительным положением вещей. Поскольку между ними не существует непреодолимого разрыва, даже напичканный фашистским жаргоном язык способен творить метафоры, что и составляет ту живую вербальную стихию, поддерживать которую в изолированной среде беженцев практически нет шансов. Как пишет Амери, «всякая развитая речь предполагает метафоры, идет ли речь о дереве, упрямо тянущем к небу голую ветку, или о еврее, по каплям вливающим яд Передней Азии в тело немецкого народа. Материал для метафор всегда дает очевидная, чувственная реальность» [5. С. 95]. О ее удаленности сигнализирует и семантический сбой, то и дело возникающий при чтении Амери немецких газет: например то, что называлось в них «вражескими самолетами», имело для него полностью противоположное значение. Восприятие Третьего рейха как противника, с которым он сражался, вынуждало Амери изживать в себе и немецкий язык. Победа в любом случае оборачивалась поражением: искоренение родной речи не могло иметь своим следствием ничего, кроме саморазрушения.

Ту же внутреннюю надломленность испытывает и один из центральных персонажей повести «Три дороги к озеру» Йозеф фон Тротта. Оглядываясь на свои романтические увлечения, Элизабет понимает, что в его лице она потеряла главную любовь всей жизни. Считается, что прототипом этого героя стал Пауль Целан, весть о самоубийстве которого потрясла Ингеборг Бахман. Но многие комментаторы отмечают и сходство Тротты, «изгоя, человека пропавшего» [3. С. 272], числящего своей родиной давно исчезнувшую Австро-Венгерскую монархию, с Жаном Амери. Еще важнее, что и сам Амери идентифицировал себя с ним. Подобное узнавание не в последнюю очередь могло случиться потому, что имя, нрав, судьба Тротты были перенесены в повествование Бахман прямо из романа Йозефа Рота «Склеп капуцинов» (1938)¹, книги, которая до сих пор откликается ностальгическим эхом в каждом австрийце. Даже рецензию на сборник Бахман Амери озаглавливает «Тротта возвращается», и в этом названии прорывается надежда не только на возвращение большой литературы, но и на восстановление своих прав в стране, когда-то его отторгнувшей, ибо лишь при условии отождествления родины с литературой Амери согласен на репатриацию².

¹ Не только Тротта, но и другие мужские характеры в «Трех дорогах к озеру» заимствованы из «Склепа капуцинов». Роман Рота заканчивается накануне Второй мировой войны, когда главный герой, разочарованно созерцающий крушение своей страны, отсылает малолетнего сына Франца Йозефа Евгения фон Тротта в Париж. Именно этот образ, едва намеченный Ротом, Бахман в своей повести делает символом собственного потерянного поколения. Подробнее об интертекстуальных связях в тексте Бахман см.: [26].

² О сохраняющемся на протяжении всей жизни Амери интересе к австрийской литературе, классической и современной, см.: [27].

Пожалуй, наиболее бросающейся в глаза особенностью, общей для бахмановского Тротты и Амери, является их амбивалентное отношение к немецкой речи. В духе радикализма, присущего Амери, возлюбленный Элизабет предлагает «запретить немцам разговаривать по-немецки» [3. С. 281], подчеркивая тем самым, что вина за совершенные злодеяния лежит и на языке. Для Тротты язык выступает не случайной формой мысли и действия, а естественной стихией их порождения, и потому единственное средство изменить немцев и австрийцев он видит в том, чтобы заставить говорить их на другом наречии. Тротта со своими утопическими фантазиями не находит понимания у Элизабет, которая привыкла использовать суггестивную силу языка для убеждения и верит, что настоящая журналистика поможет преобразовать общество. Как не находит поддержки – даже у бывших узников концлагеря – Амери со своим бескомпромиссным ресентиментом, нежеланием забыть, простить и жить дальше. Развивая высказанную однажды Томасом Манном в сердцах идею, что все книги, вышедшие в Германии с 1933 по 1945 г., следовало бы списать в макулатуру, Амери доводит ее до логического завершения: «Если бы немецкий народ духовно пустил в макулатуру не только книги, но все, что натворил за эти двенадцать лет, это стало бы отрицанием отрицания – в высокой степени позитивным, спасительным актом» [5. С. 134].

«Реактивная злость», как расшифровывает Амери ницшевское понятие *ressentiment*¹, приобретает в его одноименном эссе свойства этического феномена. В противовес негласно принятой в обществе установке примириться с прошлым и во имя сохранения «здоровья» социального тела устремиться в будущее, Амери выступает с крайне непопулярной программой исторической справедливости. «Мне кажется, за два десятилетия размышлений о том, что со мной произошло, я понял, что вызванное социальным нажимом прощение и забвение аморальны» [5. С. 123]. Категорический императив, который предлагает Амери, зиждется не на проповеди отвлеченного гуманизма с его предпосылкой, что человек по природе добр, а на знании того, что ближний способен на любое злодеяние. Ярость Амери распространяется на тех, кто его пытал, на тех, кто обслуживал бездушную машину истребления, на тех, кто молчал, на тех, кто, практикуя бездействие, выбрал и продолжает выбирать уютную форму конформистского существования². Он восстает против самого времени, чей размеренный ход

¹ Термин «ресентимент», введенный Ницше в культурный обиход, имел в его философии исключительно негативные коннотации и обозначал зависть и злобу, которые испытывают «слабые» по отношению к «сильным». Согласно Ницше возникновение христианской морали обусловлено именно этими низменными чувствами. Амери же, признавая разрушительность ресентимента, тем не менее видит в нем активное начало, побуждающее к действиям и поступкам.

² Мишенью критики Амери стали не только правые и консерваторы, но и либерально настроенные интеллектуалы: он не щадит ни Мартина Бубера «с его пафосом всепрощения» [5. С. 114], ни Габриэля Марселя, который объявил режим Гитлера «несчастливым случаем немецкой истории» [5. С. 116], ни Теодора Адорно, возложивше-

способствует все большему отдалению, абстрагированию и в конечном счете стиранию произошедшего.

Заживляющая природа времени позволила немцам восстановить страну из руин, заново запустить экономику, наладить внешнеполитические связи и в значительной степени консолидировать общество. Однако, по мнению Амери, она «антиморальна», поскольку оставляет нерешенным конфликт между жертвами и палачами. На стороне «естественного» развития событий – наука, логика и здравый смысл, на стороне Амери – этика. В этом неравном противостоянии его оружием служит ресентимент: «...я... выдвигаю нравственное, но абсурдное требование повернуть время вспять» [5. С. 131]. Он жаждет не реабилитации, не сатисфакции, не сведения счетов – на свой странный манер он стремится к общему согласию, но согласию не ценой прощения и совместного погребения минувшего, а ценой пробуждения в каждом настоятельной потребности исправить прошлое. Американский исследователь Холокоста Фред Алфорд уточняет, что нереальность притязаний Амери вовсе не означает их несостоятельности, а напротив, оказывается залогом их этической действенности: «Требовать от преступников и очевидцев желать столь же сильно, как и он сам, чтобы случившегося никогда не случилось, чтобы история могла быть преодолена, это идеалистично, но не невозможно. И конечно же, не более невозможно, чем просить каждого предполагать, что произошло бы, если бы принцип, по которому он или она собираются действовать, стал универсальным законом, известным нам как категорический императив» [28. Р. 39]. Напоминающая кантовское учение этика Амери ригористична и индивидуальна. Но коль скоро под «коллективной виной» немцев он понимает сумму всех частных проступков, то и универсальность морали складывается для него из совокупности единичных нравственных действий. В этот процесс очищения прошлого, который Амери именует «морализацией истории», должны быть вовлечены обе стороны: и те, кто пострадал, и те, кто причинял страдания. Первые не вправе молчать о своем травматическом опыте, дабы сохранять общественное спокойствие, вторые – использовать это молчание, чтобы оставаться безнаказанными. Поэтому Амери заявляет: «...мой ресентимент нужен затем, чтобы преступление стало для преступника моральной реальностью, чтобы его вовлекло в правду его злодеяния» [5. С. 121].

Представление о моральной правде, которая не удобна ни для жертв, ни для их мучителей, которая нарушает неписанные социальные конвенции и выносит на всеобщее обозрение неприглядные вещи, разделяет и Ингеборг Бахман. Даже в первом сборнике своей прозы она поднимает тему неизбывности старых привычек в стране, громогласно отринувшей фашизм. В рассказе «Среди убийц и безумцев» (1961) Бахман показывает разные формы приспособленчества к новой действительности, противопоставляя им позицию героя, который на глазах у прежних попутчиков режима со-

го на Просвещение ответственность за появление фабрик смерти, ни Ханну Арендт, которая на процессе Эйхмана вывела формулу о банальности зла.

вершает самоубийство из-за невозможности заглушить свое чувство вины. А в поздних произведениях, подчиненных идее, что война не закончилась, но всего лишь мимикрировала под мирное время, писательница сосредоточивается на анализе убийственных межличностных отношений в повседневной жизни. Она отваживается затрагивать проблемы, которые принято было не замечать – в самом широком диапазоне от нагнетания гонки вооружений до домашнего насилия. И часто в ее собственном голосе, как и в голосах ее протагонистов, различимы нотки ресентимента¹. В одном из интервью Бахман говорит: «...ведь агрессия тоже бывает конструктивной, не только деструктивной, так что ее упразднение не всегда приносит пользу» [16. S. 128]. Крайне маргинальным в этом плане получился и образ Тротты, воплотивший в себе дух несогласия и внутреннего негодования. Виной тому (как и в случае Амери) не скверный характер, а упорное нежелание отступить от моральной правды. И чем больше он упорствует, тем более одиноким оказывается. Его суждения об австрийцах, которые «не могли понять, почему их предают анафеме за какие-то несколько миллионов убитых» [3. С. 282], или о журналистах, которые лезли под пули ради публичного признания их геройства, даже в глазах Элизабет выглядели настолько неуместными, что она не помышляла взять его с собой в какую-нибудь компанию.

Подобную бестактность Амери сделал априорной формой этического высказывания. Ибо такт – это светская добродетель, призванная обходить молчанием истинное положение дел, чтобы сохранить видимость мирного сосуществования. Но есть ситуации, в которых утаиваемая правда ничем не отличается от сознательно осуществляемой лжи, и тот, кто отваживается на ее вынесение в публичное пространство, неизбежно нарушает правила вежливости. Двадцать послевоенных лет до процесса над освенцимскими надзирателями Амери держал свои сомнения при себе. Однако в тот момент, когда он решается свидетельствовать, его слово приобретает масштаб морального действия. Свидетель – фигура трагическая не только потому, что он сам прошел через страшные унижения, о которых должен поведать миру, но и потому, что обязан говорить за тех, кто не выжил, и найти выражение тому, что превышает пределы выразимого². Моральный конфликт, разыгрывающийся в сознании свидетеля, обнаруживает границы языка. Дана Амир, исследующая психолингвистические аспекты травматического опыта, пишет в связи с Амери: «Поскольку любое свидетельство находится на пересечении того, “что не может быть сказано”, и того, что в действительности говорится, каждый акт свидетельства является одновременно крахом языка и его созиданием: крахом – поскольку свиде-

¹ Видный специалист по творчеству Бахман Курт Барч полагает, что именно чтение Амери придало ей уверенности, смелости и сил в личной борьбе с «обыкновенным фашизмом», см.: [29. S. 132].

² Итальянский философ Джорджо Агамбен, апеллируя к участи лагерного мусульманина, выстраивает теорию свидетельства как результата совместного усилия того, кто обладает речью, и того, кто утратил этот навык. См.: [30. С. 153–160].

тельствование о том, что не может быть подтверждено, делает свидетельство бессмысленным событием... а созиданием – поскольку там, где языку удается говорить не вопреки лакунам, а от их имени, не за их пределами, а через них, язык становится реальным событием свидетельства, тем, что составляет предмет свидетельствования как такового. Другими словами, чтобы отдавать себе отчет, человек должен одновременно ходить над пропастью и обитать в ней; он должен удерживать – внутри языка – непреодолимый разрыв между тем, что может быть сказано, и тем, что, будучи сказано, тонет в молчании. ...Свидетель находится в изгнании по определению: либо в отношении самого себя, либо в отношении языка» [31. Р. 161–162].

Свидетелем канувшего прошлого – родины, языка, человеческого достоинства – ощущает себя и Тротта. Отравляя своими разочарованиями общество, которое всеми силами стремится возродиться к жизни, и не имея возможности вновь обрести утраченное, герой Бахман, француз поневоле, возвращается в Вену, но только затем, чтобы пустить себе пулю в лоб. Тот же символический жест спустя пять лет после смерти Бахман совершает и Амери. В зальцбургской гостинице «Австрийский двор», куда он приезжает из Германии, внезапно прервав свои литературные чтения, писатель кончает жизнь самоубийством, приняв огромную дозу снотворного. «Самой большой бестактностью» Амери провозглашает этот поступок Дэвид Хайд, профессионально занимающийся этическими вопросами мыслитель, имея в виду вызов, бросаемый одиночкой социальным тенденциям к примиренчеству [32. Р. 97]. Амери в книге «Наложить на себя руки» (1976), увидевшей свет за два года до его смерти (и спустя два года после первой попытки суицида), стремился реабилитировать осуждаемое с религиозных, психологических, житейских позиций самоубийство в качестве акта свободной воли. Это экзистенциальное решение человек принимает тогда, когда будущее теряет свое значение, когда – если воспользоваться терминологией Сартра – исчезает перспектива разворачивания индивидуального проекта. То, что наука диагностирует такой вид смерти как результат сильнейшего аффекта или даже временного помешательства, означает лишь неспособность охватить этот феномен методами дискурсивной логики. Подобно ресентименту или моральному действию, самоубийство не поддается постижению с помощью рассудочных средств¹. Предсмертная записка в этом плане – не столько объяснение своего намерения, сколько последняя просьба о понимании. В 1974 г. Амери оставил несколько строк близким, в которых главной причиной своего ухода назвал неспособность продолжать пи-

¹ Альтернативное видение этой проблемы, и случая Амери в частности, дает художественная литература. Венгерский писатель Имре Кертес, чье творчество тоже проходит под знаком Освенцима, в качестве главной сюжетной линии своего романа «Самоликвидация» (2003) изображает добровольную смерть бывшего заключенного концлагеря, одним из прототипов которого, по признанию автора, послужил Амери. Катастрофа, которую герой носит в себе, не позволяет ему овладеть «искусством жизни», и, чувствуя губительную силу своего ресентимента, затрагивающую родных ему людей, он кончает с собой. См.: [33].

сать. В 1978 г. прощального письма не было. Правда, среди его бумаг в номере отеля обнаружилось шесть стихотворений Ингеборг Бахман¹, одно из которых – «Изгнание» – вполне можно признать за таковое:

Я живой мертвец на чужбине,
навсегда лишенный прописки,
никому не известный в царстве префектов,
сверхсметный в городах под золочеными крышами
и в селах зеленых.

Со мною давно покончено,
нет у меня ни кола, ни двора, ни крова –

только ветер, и время, и бремя песен.

Я тот, кому нет места среди людей.

Но есть у меня немецкая речь,
и она словно облачко вокруг меня,
и она вокруг меня как летучий дом,
и лечу я в нем
сквозь все языки и наречья.

О, как оно мрачнеет, это облако,
но из темных отзвуков грома
лишь немногие падают наземь.

И туча светлеет и возносит мертвого ввысь [34. С. 137].

Однажды Бахман устами своего героя определила человечность как «умение не приближаться вплотную» [23. С. 77]. Такого рода дистанция сохранялась и в отношениях между Амери и Бахман, что во многом объясняет тот факт, почему исследователи, отмечая отдельные параллели в их текстах, не предпринимали попыток взглянуть на судьбы и творчество двух выдающихся австрийцев с точки зрения их принципиального единомыслия. Проведенный сравнительный анализ показывает, что несмотря на все внешние расхождения – жизненного опыта, закрепленного в общественном сознании поверхностными категориями «успешная молодая поэтесса» и «жертва Холокоста», избранных творческих стратегий, а собственно, прямого и непрямого говорения, публичных ролей – их голоса оказываются на удивление созвучны друг другу. Те болезненные вопросы, которые Амери поднимает в своих эссе, Бахман изображает языком художественной прозы. Ввиду профессионального призвания оба уделяют осо-

¹ Все они – «Freies Geleit», «Hotel de la Paix», «Exil», «Geh, Gedanke», «Strömung», «Ihre Worte» – датируются 1959–1961 гг. и относятся к числу тех немногих, которые она сочинила уже после своего поворота к прозе. Эти сведения приводит в своей статье Хайдельбергер-Леонард, см.: [7. S. 158, 162].

бое внимание родной речи, которая неизбежно несет на себе печать недавней трагической истории. Через призму языка пропущены их размышления о родине, памяти, вине, ответственности – темах, которые в послевоенной Германии не принято было акцентировать, но обсуждение которых впоследствии станет решающим для обновления духовного климата в стране. Непреклонность Жана Амери в моральном плане делала его настолько неудобной фигурой, что зачастую даже бывшие узники концлагерей осуждали его радикальную позицию. Поддержку он нашел не в среде собратьев по несчастью и не в кругах политических активистов, а в лице Ингеборг Бахман и ее героев, которые усилили реальность его свидетельства средствами художественного вымысла.

Литература

1. *Kanz Ch.* «Viel couragierter als unsere Herren» – Elisabeth Matrei in «Drei Wege zum See» // Werke von Ingeborg Bachmann / hrsg. von M. Mayer. Stuttgart : Reclam, 2002. S. 196–219.
2. *Сонтаг С.* Смотрим на чужие страдания / пер. с англ. В. Голышева. М. : Ад Маргинем Пресс, 2014. 96 с.
3. *Бахман И.* Три дороги к озеру / пер. с нем. Л. Черной // Избранное. М., 1981. С. 253–335.
4. *Heidelberger-Leonard I.* Jean Améry : Revolte in der Resignation. Stuttgart : Klett-Cotta, 2004. 408 S.
5. *Амери Ж.* По ту сторону преступления и наказания : Попытки одоленного одолеть / пер. с нем. И. Эбаноидзе. М. : Новое издательство, 2015. 200 с.
6. *Бахман И.* Малина / пер. с нем. С. Шлапоберской. М. : Аграф, 1998. 368 с.
7. *Heidelberger-Leonard I.* Versuchte Nähe : Ingeborg Bachmann und Jean Améry // Text + Kritik. Heft 6 : Ingeborg Bachmann. 1995. S. 154–162.
8. *Ерохин А.В.* Ингеборг Бахман // История австрийской литературы XX века. Т. 2: 1945–2000. М., 2010. С. 235–255.
9. *Améry J.* Am Grabe einer ungekannten Freundin (1972) // Kein objektives Urteil – nur ein lebendiges. Texte zum Werk von Ingeborg Bachmann / hrsg. von Chr. Koshel, I. von Weidenbaum. München, Zürich : Piper, 1989. S. 200–202.
10. *Bachmann I.* Werke. In 4 Bde. Bd. 4 : Essays, Reden, Vermischte Schriften, Anhang / Hrsg. von Chr. Koshel, I. von Weidenbaum, Cl. Münster. 6. Aufl. München, Zürich : Piper, 1993. 541 S.
11. *Reich-Ranicki M.* Die Dichterin wechselt das Repertoire (1972) // Kein objektives Urteil – nur ein lebendiges. Texte zum Werk von Ingeborg Bachmann / hrsg. von Chr. Koshel, I. von Weidenbaum. München, Zürich : Piper, 1989. S. 188–192.
12. *Weigel S.* Die Stimme der Medusa : Schreibweisen in der Gegenwartsliteratur von Frauen. Dülmen-Hiddingsel : Tende, 1995. 379 S.
13. *Weigel S.* Ingeborg Bachmann. Hinterlassenschaften unter Wahrung des Briefgeheimnisses. Wien : Paul Zsolnay Verlag, 1999. 465 S.
14. *Améry J.* Trotta kehrt zurück (1972) // Kein objektives Urteil – nur ein lebendiges. Texte zum Werk von Ingeborg Bachmann / hrsg. von Chr. Koshel, I. von Weidenbaum. München, Zürich : Piper, 1989. S. 192–196.
15. *Reilani L.* „Heimkehr nach Galicien“. Heimat im Werk Ingeborg Bachmanns. Mit einem bisher unveröffentlichten Brief von Jean Améry an Ingeborg Bachmann // Topographien einer Künstlerpersönlichkeit. Neue Annäherung an das Werk Ingeborg Bachmanns (Internationales Symposium, Wien 2006) / hrsg. von B. Agnese und R. Pichl. Würzburg : Königshausen & Neumann, 2009. S. 31–46.

16. *Bachmann I.* Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews / hrsg. von Chr. Koshel, I. von Weidenbaum. 4. Aufl. München, Zürich : Piper, 1994. 176 S.
17. *Зебальд В.Г.* Аустерлиц / пер. с нем. М. Кореновой. СПб. : Азбука-классика, 2006. 352 с.
18. *Hoell J.* Ingeborg Bachmann. 2. Aufl. München : DTV, 2004. 160 S.
19. *Evgrashkina E.* Tod in Rom: Über einen biographischen Mythos und seine literarischen Erscheinungsformen // Эволюция и трансформация дискурсов. Самара : Самарский университет, 2016. Вып. 1. С. 358–368.
20. *Бахман И.* Из песен на дорогах бегства / пер. с нем. А. Исаевой // Избранное. М., 1981. С. 53–57.
21. *Bachmann I.* Frankfurter Vorlesungen. Probleme zeitgenössischer Dichtung. München : Piper, 1980. 105 S.
22. *Sebald W.G.* Verlorenes Land – Jean Améry und Österreich // Sebald W.G. Unheimliche Heimat : Essays zur österreichischen Literatur. 4. Aufl. Frankfurt a. M. : Fischer Taschenbuch Verlag, 2012. S. 131–144.
23. *Бахман И.* Тридцатый год / пер. с нем. А. Исаевой // Бахман И. Избранное : Сборник. М. : Прогресс, 1981. С. 69–104.
24. *Коваль О.А., Крюкова Е.Б.* Образ языка Людвиг Витгенштейна и язык образов Ингеборг Бахман // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2018. № 51. С. 145–161.
25. *Чоран С.* Признания и проклятия : Философская эссеистика / пер. с фр. О. Акимовой. СПб. : Симпозиум, 2004. 206 с.
26. *Dippel A.* “Österreich – das ist etwas, das immer weitergeht für mich”. Zur Fortschreibung der “Trotta”-Romane Joseph Roths in Ingeborg Bachmanns Simultan. St. Ingbert : Röhrig, 1995. 155 S.
27. *Doll J.* Morbus austriacus. Jean Améry und die österreichische Literatur // An den Grenzen des Geistes : Jean Améry zum 100. Geburtstag / hrsg. von B. Hewera und M. Mettler. Marburg : Tectum Verlag, 2013. S. 121–134.
28. *Alford C. F.* Jean Améry and the Generational Limits of Resentment as Morality // Jean Améry. Beyond the Mind’s Limits / ed. by Y. Ataria, A. Kravitz, E. Pitcovski. Cham : Palgrave Macmillan, 2019. P. 35–54.
29. *Bartsch K.* Ingeborg Bachmann. 2. Aufl. Stuttgart, Weimar : Metzler, 1997. 208 S.
30. *Агамбен Дж.* Номо sacer: Что остается после Освенцима : архив и свидетель / пер. с ит. И. Левиной, О. Дубицкой, П. Соколова. М. : Европа, 2012. 192 с.
31. *Amir D.* Language in Exile, Exile in Language // Jean Améry. Beyond the Mind’s Limits / ed. by Y. Ataria, A. Kravitz, E. Pitcovski. Cham : Palgrave Macmillan, 2019. P. 159–169.
32. *Heyd D.* The Ethics of Resentment : The Tactlessness of Jean Améry // Jean Améry. Beyond the Mind’s Limits / ed. by Y. Ataria, A. Kravitz, E. Pitcovski. Cham : Palgrave Macmillan, 2019. P. 85–102.
33. *Кертес И.* Самоликвидация : роман / пер. с венг. Ю. Гусева. М. : Текст, 2005. 187 с.
34. *Бахман И.* Изгнание / пер. с нем. А. Голембы // Бахман И. Воистину : Стихи / под ред. Е. Соколовой. М., 2000. С. 136–137.

Between Poetry and Truth: Ingeborg Bachmann and Jean Améry on the Meaning of the Homeland, Language, and Morality

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 74. 268–288. DOI: 10.17223/19986645/74/15

Ekaterina B. Kriukova, Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: kriukova.jr@yandex.ru

Oxana A. Koval, Russian Christian Academy for the Humanities (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: ox.koval@gmail.com

Keywords: language, ethics, resentment, philosophy and literature, Bachman, Améry.

The paper is written with financial support from the Russian Foundation for Basic Research (RFFI), Project No. 19-311-60010: The ethical dimension of language: modern literature as a way to approach the limits of words.

The focus of the article is the story of two Austrian intellectuals: the poetess and authoress Ingeborg Bachmann and her older contemporary Jean Améry, a brilliant essayist who was one of the first to try to comprehend the Holocaust phenomenon, relying on his own tragic experience. The article aims to show how Bachmann's poetic discourse corresponds to the rational-philosophical type of Améry's writing and complements it in their common efforts to create a legitimate space for moral expression. Despite the fact that they did not meet in person, traces of the presence of the other can be found in the life and work of each of them. Using biographical, comparative, and hermeneutic methods, the article reconstructs the history of the relationship between Bachmann and Améry. This story develops into an invisible dialogue that takes place in the border area of reality and fiction. Language, homeland, memory, crimes of the past, trauma, guilt, and responsibility are the key topics of their conversation: these existential questions set the moral horizon of their thought and outline the main vectors of the ethical quest in post-war Europe. Particular attention in the article is paid to the concept of resentment (the sense of destructive anger). Améry elevates it to a moral category, which makes it possible to reveal the conflict between the individual and society. His social criticism, presented in the book *Beyond Guilt and Atonement*, is embodied in the literary world of Ingeborg Bachmann. In the short story "Three Paths to the Lake", she mentions Améry's essay "On Torture" and integrates her own reflections into the structure of the literary work. In addition, there is a character named Franz Joseph Trotta, who, due to his uncompromising stand and intolerance of falsehood, becomes an outsider. In the features of this most attractive and charismatic male character, you can guess the personality and views of Améry himself. Améry was disappointed in the possibilities of historical, documentary, psychological, confessional discourses to grasp and convey the truth about the anthropological catastrophe that had happened, and Bachmann seemed to offer him another space for witnessing, namely fiction. It is concluded that, for an exiled person who was forcibly deprived of his homeland and under no circumstances wished to make peace with it, literature is almost the only way to regain lost time, place, home, and language. For both Bachmann and Améry, the value of language lies not in its instrumental function, but in its ontological power, which gives the moral dimension of human existence the status of a true being. The article is intended to make up for the lack of studies on a comparative analysis of the philosophical insights of Jean Améry and the poetic intuitions of Ingeborg Bachmann.

References

1. Kanz, Ch. (2002) Viel couragierter als unsere Herren – Elisabeth Matri in "Drei Wege zum See". In: Mayer, M. (eds) *Werke von Ingeborg Bachmann*. Stuttgart: Reclam. pp. 196–219.
2. Sontag, S. (2014) *Smotrim na chuzhie stradaniya* [Regarding the Pain of Others]. Translated from English by V. Golyshev. Moscow: Ad Marginem Press.

3. Bakhmann, I. (1981) *Tri dorogi k ozeru* [Three roads to the lake]. Translated from German by L. Chernaya. In: Bakhman, I. *Izbrannoe: Sbornik*. [Favorites: Collection]. Moscow: Progress. pp. 253–335.
4. Heidelberger-Leonard, I. (2004) *Jean Améry: Revolte in der Resignation*. Stuttgart: Klett-Cotta.
5. Améry, J. (2015) *Po tu storonu prestupleniya i nakazaniya: Popytki odolennogo odolet'* [On the other side of crime and punishment: Attempts to overcome the overcome]. Translated from German by I. Ebanoidze. Moscow: Novoe izdatel'stvo.
6. Bakhmann, I. (1998) *Málina*. Translated from German by S. Shlapoberskaya. Moscow: Agraf.
7. Heidelberger-Leonard, I. (1995) *Versuchte Nähe: Ingeborg Bachmann und Jean Améry*. Heft 6: Ingeborg Bachmann. pp. 154–162.
8. Erokhin, A. V. (2010) Ingeborg Bakhman [Ingeborg Bachman]. In: Sedel'nik, V.D. (ed.) *Istoriya avstriyskoy literatury XX veka*. [History of Austrian literature of the 20th century]. Vol. II: 1945–2000. Moscow: A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences. pp. 235–255.
9. Améry, J. (1989) Am Grabe einer ungekannten Freundin. In: Koshel, Chr. & Weidenbaum, I. (eds) *Kein objektives Urteil – nur ein lebendiges. Texte zum Werk von Ingeborg Bachmann*. München, Zürich: Piper. pp. 200–202.
10. Bachmann, I. (1993) *Werke. In 4 Bde.* Bd. 4. Edited by Chr. Koshel, I. Weidenbaum & Cl. Münster. 6. Aufl. München, Zürich: Piper.
11. Reich-Ranicki, M. (1989) Die Dichterin wechselt das Repertoire. In: Koshel, Chr. & Weidenbaum, I. (eds) *Kein objektives Urteil – nur ein lebendiges. Texte zum Werk von Ingeborg Bachmann*. München, Zürich: Piper. pp. 188–192.
12. Weigel, S. (1995) *Die Stimme der Medusa: Schreibweisen in der Gegenwartsliteratur von Frauen*. Dülmen-Hiddingsel: Tende.
13. Weigel, S. (1999) *Ingeborg Bachmann. Hinterlassenschaften unter Wahrung des Briefgeheimnisses*. Wien: Paul Zsolnay Verlag.
14. Améry, J. (1989) Trotta kehrt zurück. In: Koshel, Chr. & Weidenbaum, I. (eds) *Kein objektives Urteil – nur ein lebendiges. Texte zum Werk von Ingeborg Bachmann*. München, Zürich: Piper. pp. 192–196.
15. Reilani, L. (2009) "Heimkehr nach Galicien". Heimat im Werk Ingeborg Bachmanns. In: Agnese, B. & Pichl, R. (eds) *Topographien einer Künstlerpersönlichkeit. Neue Annäherung an das Werk Ingeborg Bachmanns*. Würzburg: Königshausen & Neumann. pp. 31–46.
16. Bachmann, I. (1994) *Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews*. 4. Aufl. München, Zürich: Piper.
17. Sebald, W.G. (2006) *Austerlitz*. Translated from German by M. Koreneva. Saint Petersburg: Azbuka-klassika.
18. Hoell, J. (2004) *Ingeborg Bachmann*. 2. Aufl. München: DTV.
19. Evgrashkina, E. (2016) Tod in Rom: Über einen biographischen Mythos und seine literarischen Erscheinungsformen. In: *Evolutsiya i transformatsiya diskursov* [Evolution and transformation of discourses]. Vol. 1. Samara: Samara National Research University. pp. 358–368.
20. Bakhmann, I. (1981) *Iz pesen na dorogakh begstva* [From songs on the roads of escape]. Translated from German by A. Isaeva. In: Bakhman, I. *Izbrannoe: sbornik* [Selected works: collection]. Moscow: Progress. pp. 53–57.
21. Bachmann, I. (1980) *Frankfurter Vorlesungen. Probleme zeitgenössischer Dichtung*. München: Piper.
22. Sebald, W.G. (2012) Verlorenes Land – Jean Améry und Österreich. In: Sebald, W.G. *Unheimliche Heimat: Essays zur österreichischen Literatur*. 4. Aufl. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. pp. 131–144.

23. Bakhmann, I. (1981) Tridtsatyy god [Thirtieth year]. Translated from German by A. Isaeva. In: Bakhman, I. *Izbrannoe: Sbornik* [Selected works: Collection]. Moscow: Progress. pp. 69–104.
24. Koval', O.A. & Kryukova, E.B. (2018) Ludwig Wittgenstein's Image Language and Ingeborg Bachmann's Image Language. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 51. pp. 145–161. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/51/12
25. Choran, S. (2004) *Priznaniya i proklyatiya: Filosofskaya esseistika* [Confessions and curses: Philosophical essay]. Translated from French by O. Akimova. Saint Petersburg: Simpozium.
26. Dippel, A. (1995) "Österreich – das ist etwas, das immer weitergeht für mich". *Zur Fortschreibung der "Trotta"-Romane Joseph Roths in Ingeborg Bachmanns Simultan*. Sankt Ingbert: Röhrig.
27. Doll, J. (2013) Morbus austriacus. Jean Améry und die österreichische Literatur. In: Hewera, B. & Mettler, M. (eds) *An den Grenzen des Geistes: Jean Améry zum 100. Geburtstag*. Marburg: Tectum Verlag. pp. 121–134.
28. Alford, C.F. (2019) Jean Améry and the Generational Limits of Resentment as Morality. In: Ataria, Y., Kravitz, A. & Pitcovski, E. (eds) *Jean Améry. Beyond the Mind's Limits*. Cham: Palgrave Macmillan. pp. 35–54.
29. Bartsch, K. (1997) *Ingeborg Bachmann*. 2. Aufl. Stuttgart, Weimar: Metzler.
30. Agamben, G. (2012) *Homo sacer. Chto ostaetsya posle Osventsima: arkhiv i svidetel'* [Homo sacer. What remains after Auschwitz: an archive and a witness]. Translated from Italian by I. Levina, O. Dubitskaya & P. Sokolov. Moscow: Evropa.
31. Amir, D. (2019) Language in Exile, Exile in Language. In: Ataria, Y., Kravitz, A. & Pitcovski, E. (eds) *Jean Améry. Beyond the Mind's Limits*. Cham: Palgrave Macmillan. pp. 159–169.
32. Heyd, D. (2019) The Ethics of Resentment: The Tactlessness of Jean Améry. In: Ataria, Y., Kravitz, A. & Pitcovski, E. (eds) *Jean Améry. Beyond the Mind's Limits*. Cham: Palgrave Macmillan. pp. 85–102.
33. Kertes, I. (2005) *Samolikvidatsiya: Roman* / translated from Hungarian by Yu. Guseva. Moscow: Tekst.
34. Bakhmann, I. (2000) Izgnanie [Exile]. Translated from German by A. Golemba. In: Sokolova, E. (ed.) *Voistinu: Stikhi* [Truly: Poems]. Moscow: Nezavisimaya Gazeta. pp. 136–137.